

Лекция 3. Специфические черты либерального искусства управлять (II)

24 января 1979 г. Специфические черты либерального искусства управлять (II): (3) Проблема европейского баланса и международные отношения. — Экономический и политический расчет в меркантилизме. Принцип свободы рынка у физиократов и Адама Смита: рождение новой европейской модели. — Появление правительственной рациональности и ее распространение в мировом масштабе. Примеры: вопрос о морском праве; проекты вечного мира в XVIII в. — Принципы нового либерального искусства управлять: «правительственный натурализм»; производство свободы. — Проблема либерального арбитража. Его инструменты: (1) управление опасностями и создание механизмов безопасности; (2) дисциплинарный контроль (паноптизм Бентама); (3) интервенционистская политика. — Управление свободой и его кризисы

В прошлый раз я попытался уточнить кое-что из того, что представляется мне основополагающими чертами либерального искусства управлять. Сперва я говорил о

проблеме экономической истины и веридикции рынка, а затем о проблеме ограничения руководства расчетом полезности. Теперь я хотел бы обратиться к третьему, как мне представляется, также основополагающему, аспекту, — международному равновесию, вернее, равновесию в Европе и международном пространстве либерализма.

Как вы помните, когда в прошлом году речь шла о государственных интересах,¹ я пытался показать вам, какое равновесие, система противовесов существовали между тем, что можно назвать неограниченными внутренними целями государства и, с другой стороны, ограниченными внешними целями. Неограниченные внутренние цели — это сам механизм становления полицейского государства, то есть руководства всегда самого жесткого, самого явного, самого устойчивого, безграничная регламентация, устанавливаемая *a priori*. По ту сторону неограниченных целей мы обнаруживаем внешние ограниченные цели той эпохи, когда складываются государственные интересы и формируется это полицейское государство, стремление к которым и реальная организация которых есть то, что называется европейским балансом, чей принцип таков: поступать так, чтобы никакое государство не возвысилось над другими настолько, чтобы восстановить в Европе имперское единство; следовательно, действовать так, чтобы ни одно государство не господствовало над другими, чтобы ни одно государство не возвысилось над всеми своими соседями настолько, чтобы установить над ними свое господство, и т. д. Связь между этими двумя механизмами — механизмом неограниченных целей, полицейским государством, и механизмом ограниченных целей, европейским балансом, — как видите, очень легко понять в том смысле, что полицейское государство, или, если хотите, внутренние механизмы, обеспечивающие неограниченное развитие полицейского государства, имеют смысл своего существования, конечной целью и задачей усиление самого государства; каждое государство, таким образом, нацелено на неограниченное усиление, то есть наращивание неограниченного превосходства над другими. Говоря яснее, конкуренция в отношении того, кто лучший в конкурентной игре, порождает в Европе некоторую неравномерность, которая будет возрастать, которая будет порождаться дисбалансом в населении, а значит в военной силе, и приведет, следовательно, к той общеизвестной имперской ситуации, от которой европейский баланс начиная с Вестфальского договора стремился освободить Европу. Баланс устанавливался как раз для того, чтобы этого избежать.

Выражаясь точнее, в меркантилистском расчете и в том, как меркантилизм организует экономико-политический расчет сил, хорошо заметно, что в действительности невозможно избежать, даже при желании помешать новой реализации имперской конфигурации, европейского баланса. Действительно, для меркантилизма конкуренция между государствами предполагает, что все то, чем обогащается одно из государств, может и, по правде говоря, должно изыматься из богатства других государств. То, что приобретает один, отбирается у другого; обогатиться можно лишь за счет других. Иначе говоря, для меркантилистов — и это, я полагаю, очень важный момент, — экономическая игра есть игра с нулевым счетом. Впрочем, это игра с нулевым счетом просто в силу монетаристской концепции и практики меркантилизма. В мире есть определенное количество золота. Поскольку именно золото определяет, измеряет и составляет богатство всякого государства, понятно, что всякий раз, когда одно из государств обогащается, оно черпает из общего золотого запаса, а значит разоряет другие. Монетаристский характер меркантилистской политики и расчета предполагает, таким образом, что конкуренцию

нельзя представлять лишь в виде игры с нулевым счетом, а следовательно, обогащения одних за счет других.² И для того, чтобы в этой игре не было единственного выигравшего (к чему может привести строгая экономическая логика), чтобы избежать этого явления, этого политического следствия так понимаемой конкуренции, необходим своего рода баланс, который позволит, так сказать, прервать игру в данный момент. То есть: когда разрыв между игроками рискует стать слишком большим, игра останавливается, и именно это составляет европейский баланс. В какой-то мере это паскалевская проблема:³ что происходит, когда игра с нулевым итогом прерывается, а выигрыш распределяется между партнерами? Прервать игру конкуренции средствами дипломатии европейского равновесия — именно это с необходимостью предполагает монетаристская концепция и практика меркантилистов. Вот точка отсчета.

Итак, что происходит в середине XVIII в., о котором я говорю и в котором я пытаюсь выделить формирование новых правительственных интересов? В этих новых государственных интересах или в этом минимуме государственных интересов, находящихся веридикцию своего основания в рынке, а свою фактическую юрисдикцию — в полезности, все будет, конечно же, совсем по-другому. Действительно, согласно физиократам, а впрочем, также согласно Адаму Смиту, свобода рынка может и должна функционировать согласно тому способу, который устанавливается посредством свободы рынка и благодаря ей; это они и называют естественной ценой, или правильной ценой, и т. п. Как бы то ни было, кому всегда выгодна эта естественная, или правильная цена? Продавцу, но также и покупателю; покупателю и продавцу одновременно. То есть получаемые от конкуренции прибыли не будут по необходимости неравномерно распределяться между одним и другим, в пользу одного и за счет другого. Но оправданная игра естественной конкуренции, то есть конкуренции в свободном состоянии, может привести лишь к удваиванию прибыли. Колебание цен в зависимости от стоимости, которое я показал вам в прошлый раз, обеспечивающееся, согласно физиократам, согласно Адаму Смиту, свободой рынка, это колебание приводит в действие механизм взаимного обогащения. Максимум прибыли для продавца, минимум расходов для покупателей. Мы обнаруживаем, таким образом, идею, которая оказывается теперь в центре экономической игры, как она определяется либералами, полагающими, что обогащение страны, как и обогащение индивида, может сохраняться и поддерживаться в течение длительного времени только взаимным обогащением. Богатство моего соседа делает богаче меня, а не так, как говорили меркантилисты: нужно, чтобы у соседа было золото, чтобы покупать мои продукты, что позволит мне разорять его, обогащаясь самому. Нужно, чтобы мой сосед был богат, а сосед мой будет богат тогда, когда я буду богатеть от своей торговли и от нашей с ним взаимной торговли. Следовательно, это взаимное обогащение, всеобщее обогащение, обогащение региональное: или вся Европа будет богата, или вся Европа будет бедна. Больше нет пирога для дележки. Мы вступаем в эпоху экономической историчности, движимой, скорее, бесконечным обогащением, чем взаимной игрой конкуренции.

Мне кажется, здесь начинает вырисовываться нечто очень важное, последствия чего, как вы знаете, еще далеко не исчерпаны. Вырисовывается новая идея Европы — Европы, которая теперь уже не та имперская и каролингская Европа, что так или иначе была наследницей Римской империи и сводилась к совершенно обособленным политическим структурам. Это уже не классическая Европа баланса, равновесия сил, установленного так, чтобы сила

одного не позволяла ему слишком возвыситься над другим. Это Европа совместного обогащения, Европа как коллективный экономический субъект, который, какой бы ни была конкуренция между государствами, или, скорее даже, благодаря конкуренции между государствами, движется по пути неограниченного экономического прогресса.

Эта идея европейского прогресса представляется мне основополагающей темой либерализма и, как видите, совершенно меняет суть идеи европейского равновесия, даже если эта идея и не исчезает совершенно. Мы исходим из физиократической концепции и концепции Адама Смита, концепции экономической игры с нулевым счетом. Но для того чтобы экономическая игра больше не была игрой с нулевым счетом, нужны еще постоянные и непрерывные поступления. Иначе говоря, для того чтобы свобода рынка, призванная обеспечить взаимное, соотносительное, более или менее симультанное обогащение всех стран Европы, чтобы эта свобода рынка могла осуществляться как игра, не дающая в итоге ноль, нужно еще собрать вокруг Европы и для Европы как можно более широкий рынок, а в пределе — все, что может выставить на рынок мир. Другими словами, это призыв к мондиализации рынка ввиду установления принципов и целей, согласно которым обогащение Европы должно стать не обнищанием одних и обогащением других, но неограниченным коллективным обогащением. Следовательно, бесконечный характер экономического развития Европы, не допускающая нулевого счета игра, предполагает, само собой, что весь мир должен собраться вокруг Европы, чтобы обменивать на рынке, который будет рынком европейским, свои собственные продукты и продукты Европы.

Разумеется, я не хочу сказать, что Европа впервые задумывается о мире или что Европа вообще задумывается о мире. Я просто хочу сказать, что, быть может, впервые Европа в качестве экономического единства, в качестве экономического субъекта представляет себе мир как то, что может и должно быть ее экономическим доменом. Впервые Европа, как мне представляется, предстала в собственных глазах как то, что должно завладеть миром как бесконечным рынком. Европа теперь не просто испытывает зависть ко всем сокровищам мира, сверкающим в ее мечтах или в ее восприятии. Теперь Европа пребывает в состоянии постоянного коллективного обогащения за счет своей собственной конкуренции, при условии, что весь мир составляет ее рынок. Короче говоря, расчет европейского баланса в эпоху меркантилизма, государственных интересов, полицейского государства и т. д. был тем, что позволяло блокировать последствия экономической игры, которая мыслилась как законченная.[27] Теперь открытие мирового рынка позволяет экономической игре не заканчиваться, а значит избежать конфликтных следствий замкнутого рынка. Однако это включение в экономическую игру мира, очевидно, предполагает различие по природе и статусу между Европой и остальным миром. То есть, с одной стороны, Европа, европейцы, которые станут игроками, а с другой — мир, который станет ставкой. Игра ведется в Европе, но ставкой служит мир.

Мне представляется, перед нами одна из основополагающих черт того нового искусства управлять, которое определяется проблемой рынка и веридикцией рынка. Конечно, начало колонизации не здесь, не в этой организации, не в этой рефлексии и, во всяком случае, не во взаимозависимости мира и Европы. Она давно уже началась. Не думаю также, что это было начало империализма в модерном или современном смысле этого термина, поскольку очевидно, что формирование этого нового империализма наблюдается много позже — в XIX

в. Но можно сказать, что перед нами появление в европейской правительственной практике нового типа планетарного расчета. Можно найти множество признаков появления этой новой формы планетарной рациональности, этого нового расчета в масштабах мира. Я назову лишь некоторые из них.

Возьмем, к примеру, историю морского права XVIII в., когда в терминах международного права пытались мыслить мир, или по крайней мере море, как пространство свободной конкуренции, свободного морского обращения, а значит как одно из условий, необходимых для организации мирового рынка. Всю историю пиратства — того, как оно одновременно использовалось, поощрялось, запрещалось, уничтожалось и т. п. — также можно представить как один из аспектов выработки этого планетарного пространства, зависящего от определенных правовых принципов. Скажем так, имела место юридикация мира, который надлежало осмыслить в организационных терминах рынка.

Другой пример появления той правительственной рациональности, горизонт которой составляет вся планета в целом, — это проекты мира и международной организации XVIII в. Если обратиться к тем из них, что существовали начиная с XVII в., можно заметить, что все эти проекты мира артикулировались преимущественно европейским балансом, то есть точным балансом взаимодействующих сил различных государств, различных крупных государств, или крупных государств и коалиций малых государств и т. п. Начиная с XVIII в. идея вечного мира и идея международной организации артикулируются, как мне кажется, совершенно иначе. Гарантией и основанием вечного мира теперь считается не столько ограничение внутренних сил каждого государства, сколько безграничность внешнего рынка. Чем шире будет внешний рынок, чем меньше будет у него границ и пределов, тем большей будет гарантия вечного мира.

Если вы возьмете, к примеру, текст Канта о проекте вечного мира, который датируется 1795 г.,⁴ самым концом XVIII в., вы найдете главу, которая называется «Гарантия вечного мира».⁵ Как мыслит эту гарантию вечного мира Кант? Он говорит: что такое, в сущности, этот гарантируемый самим ходом истории вечный мир, и что предвещает обретение им однажды в истории фигуры и формы? Воля людей, согласие между ними, политические и дипломатические комбинации, которые они могут создать, организация права, которое они поставят между собой? Отнюдь. Это природа,⁶ так же как у физиократов природа гарантировала успешное регулирование рынка. И как же природа гарантирует вечный мир? Да очень просто, говорит Кант. Природа совершила настоящие чудеса, позаботившись, к примеру, о том, чтобы не только животные, но и люди жили в странах для этого непригодных, совершенно выжженных солнцем или скованных вечными льдами.⁷ И так, есть люди, которые живут там, несмотря ни на что, и это доказывает, что нет ни одной части света, где не могли бы жить люди.⁸ Но, чтобы люди смогли жить, нужно еще, чтобы они могли прокормиться, чтобы они могли обеспечить себе пропитание, чтобы у них была общественная организация [и] чтобы они могли обмениваться между собой или с людьми других регионов продуктами. Природа хочет, чтобы весь мир и все его ресурсы были вовлечены в экономическую деятельность — деятельность производства и обмена. А потому природа вменяет человеку определенные обязанности, каковые для человека есть обязанности юридические,⁹ которые природа диктует [ему], так сказать, тайком и которыми она отмечает своего рода недостаточность в самой диспозиции вещей, географии, климата

и т. п. Что же это за диспозиции?

Во-первых, чтобы отдельные люди могли вступать друг с другом в отношения обмена, основанного на собственности и т. п., что вменяет им природа, природа предписывает людям установить юридические отношения и гражданское право.¹⁰

Во-вторых, природа хочет, чтобы люди распределились по различным регионам мира и чтобы в каждом из этих регионов между ними установились особые отношения, которых у них не было бы с жителями других регионов, и чтобы это предписание природы люди установили в юридических терминах, создав государства, государства обособленные одни от других и поддерживающие между собой определенные юридические отношения. Таково международное право.¹¹ Но кроме того, природа желает, чтобы между этими государствами существовали не только гарантирующие независимость юридические отношения, но также и отношения торговые, которые пронизывают границы государств и которые, если можно так выразиться, делают пористой юридическую независимость каждого государства.¹² Эти торговые связи пронизывают мир, как того хотела природа, и в той мере, в какой природа хотела, чтобы мир был заселен полностью, и именно это создает право всемирного гражданства или торговое право. Конструкция такова: гражданское право, международное право, право всемирного гражданства есть не что иное, как повторение человеком в форме долга того, что предписывает природа.¹³ Можно сказать [таким образом], что право, поскольку оно повторяет предписание природы, может гарантировать то, что было, так сказать, уже прорисовано первым жестом природы, когда та населила весь мир,^[28] а именно вечный мир. Вечный мир гарантируется природой, и эта гарантия манифестируется заселением всего мира и сетью торговых отношений, стремящихся пронизать весь мир. Гарантией вечного мира поистине выступает коммерческая планетаризация.

Конечно, нужно было бы многое добавить, но уж во всяком случае — ответить на одно возражение. Когда я говорю вам, что мысль физиократов, Адама Смита, Канта, а также юристов XVIII в. манифестировала новую форму политического расчета в международном масштабе, я вовсе не хочу сказать, что всякая иная форма рефлексии, расчета и анализа, всякая иная правительственная практика исчезла напрочь. Хотя и верно, что в эту эпоху открывается мировой и планетарный рынок, а по отношению к этому мировому рынку утверждается привилегированное положение Европы, хотя в эту эпоху в равной мере утверждается идея о том, что конкуренция между европейскими государствами есть фактор всеобщего обогащения, понятно — история это всемерно доказывает, — что это не означает вступления в эпоху европейского мира и мирной планетаризации политики. В конце концов, в XIX в. мы вступаем в тяжелейшую эпоху войн, таможенных тарифов, экономического протекционизма, национальных экономик, политического национализма, [самых] великих войн, которые только знал мир и т. п. Я уверен, и именно это я хотел вам показать, что в этот момент просто появляется определенная форма рефлексии, анализа и расчета, определенная форма анализа и расчета, которая интегрируется в ту политическую практику, что вполне может подчиняться другому типу расчета, другой экономии мысли, другой практике власти. Для примера достаточно взглянуть на то, что произошло с Венским договором 1815 г.¹⁴ Перед нами, можно сказать, самое яркое проявление того, чего так долго добивались в XVII и XVIII вв., а именно, европейский баланс. О чем в действительности

шла речь? Так вот, речь шла о том, чтобы покончить с воскрешенной Наполеоном имперской идеей. Ведь в этом и состоит исторический парадокс Наполеона: дело в том, что на уровне внутренней политики — это проявилось и в его вмешательствах в дела Государственного совета, и в том, как он мыслил свою правительственную практику,¹⁵ — Наполеон, очевидно, совершенно враждебен идее государства полисии, а его задача состоит в том, чтобы в точности знать, как ограничить внутреннюю правительственную практику,¹⁶ зато во внешней политике он, можно сказать, совершенно архаичен, поскольку он стремился восстановить некую имперскую конфигурацию, против которой восставала вся Европа начиная с XVII в. По правде говоря, имперская идея Наполеона — насколько ее можно реконструировать, несмотря на поразительное молчание историков, — по-видимому, отвечала трем целям.

Прежде всего (по-моему, я говорил вам об этом в прошлом году¹⁷) империя в терминах внутренней политики — если судить о ней по тому, что историки и юристы XVIII в. говорили о каролингской империи,¹⁸ — это гарантия свобод. Империя противостоит монархии не потому, что у нее больше власти, но, напротив, потому что при ней меньше власти и меньше управления. А с другой стороны, империя — очевидно, в силу безграничности революционных идей, то есть революционного изменения мира в целом, — была способом обновить тот революционный проект, который прогремел во Франции в 1792–1793 гг., воскресив идею (архаичную для того времени) имперского господства, унаследовав каролингские формы или форму Священной империи. Это смешение идей империи, внутренне гарантирующей свободы, империи, которая была бы европейской формой неограниченного революционного проекта, и, наконец, империи, которая была бы воссозданием каролингской, немецкой или австрийской формы империи, — именно такое своеобразное смешение (*carphanaum*) представляет собой имперская политика Наполеона.

Проблема Венского договора заключалась, понятное дело, в том, чтобы свернуть эту имперскую безграничность. Она заключалась в том, чтобы восстановить европейское равновесие, но, по сути, с двумя различными целями. Перед нами австрийская цель и цель английская. В чем состояла австрийская цель? В том, чтобы восстановить европейский баланс в прежней форме, форме XVII и XVIII вв. Сделать так, чтобы ни одна страна в Европе не смогла возобладать над другими. Австрия настаивала на этом проекте, поскольку сама состояла из нескольких различных государств, скрепленных лишь старой формой полицейского государства; у Австрии было лишь административное правительство. Эта множественность государств полисии в центре Европы предполагала, что сама Европа формуется, в сущности, по этой старой схеме множества уравнивающих друг друга полицейских государств. Европа должна была принять за образец Австрию, чтобы сама Австрия могла существовать такой, какой она была. И в этой мере можно сказать, что проект европейского баланса по Меттерниху¹⁹ все еще оставался проектом XVIII в. Чем был, напротив, европейский баланс по навязанному ею Австрии Венскому договору для Англии?[29] Это был способ регионализировать Европу, ограничив, разумеется, власть каждого из европейских государств, но предоставив Англии политическую и экономическую роль, роль экономического посредника между Европой и мировым рынком, чтобы, так сказать, мондиализировать европейскую экономику посредством, посредничеством экономического могущества Англии. Таким образом, перед нами совсем другой проект европейского баланса, основанный на принципе, согласно которому Европа — особый

экономический регион, окружаемый миром, который должен стать ее рынком. Это совершенно отличается от проекта европейского равновесия, предложенного [Австрией[30]] по тому же Венскому договору. Так что, как видите, внутри одной исторической реальности можно найти два совершенно различных типа рациональности и политического расчета.

Теперь я хотел бы закончить с этими спекуляциями и, прежде чем перейти к анализу современного либерализма в Германии и в Америке, немного обобщить то, что я вам говорил об основополагающих чертах либерализма, или во всяком случае определенного искусства управлять, которое вырисовывается в XVIII в.

Итак, я пытался выделить три черты: веридикция рынка, ограничение посредством расчета правительственной полезности и, как я только что сказал, положение Европы по отношению к мировому рынку как региона с неограниченным экономическим развитием. Именно это я назвал либерализмом.

Почему мы говорим о либерализме, почему мы говорим о либеральном искусстве управлять, в то время как совершенно очевидно, что те вещи, о которых я упоминал, и черты, которые я попытался выделить, указывают, в сущности, на гораздо более общее явление, нежели ясная и простая экономическая или политическая доктрина, или экономико-политический вариант либерализма в строгом смысле? Если копнуть немного глубже, докопаться до сути вещей, вы ясно увидите, что то, что характеризует новое искусство управлять, о котором я говорил, окажется скорее натурализмом, нежели либерализмом, поскольку та свобода, о которой говорят физиократы, Адам Смит и др., — это в гораздо большей степени спонтанность, присущая экономическим процессам внутренняя механика, нежели юридическая свобода, признаваемая как таковая за индивидами. И даже еще у Канта, который, впрочем, не столько экономист, сколько юрист, вечный мир гарантируется не правом, а природой. Действительно, в середине XVIII в. вырисовывается именно правительственный натурализм. И тем не менее, я полагаю, что мы можем говорить о либерализме. Я мог добавить — впрочем, к этому я еще вернусь,²⁰ — что этот натурализм, который я считаю врожденным, во всяком случае изначальным для этого искусства управлять, очень ясно проявляется в физиократической концепции просвещенного деспотизма. Я еще скажу об этом подробнее, но в двух словах речь идет вот о чем: когда физиократы обнаруживают существование спонтанных механизмов экономии, которые должно соблюдать всякое правительство, если оно не хочет получить противоположные, обратные своим целям результаты, какие выводы они из этого делают? Что Надо дать людям свободу действовать так, как они хотят? Что правительства должны признать естественные, основополагающие, сущностные права индивидов? Что правление должно быть по возможности наименее авторитарным? Отнюдь. Физиократы заключают из этого, что правительство должно распознать в своей сложной внутренней природе эти экономические механизмы. Как только оно о них узнает, оно, конечно, должно обязаться учитывать эти механизмы. Но учитывать эти механизмы — не значит придать себе юридический осто́в, признав индивидуальные свободы и основополагающие права индивидов. Это значит лишь взять на вооружение в своей политике точное, непреходящее, ясное и внятное знание того, что происходит в обществе, на рынке, в экономических оборотах, так, чтобы ограничение власти было не признанием свободы индивидов, но просто очевидностью экономического анализа, которую следует признавать.²¹ Правление

ограничивается очевидностью, а не свободой индивидов.

Таким образом, в середине XVIII в. появляется скорее натурализм, чем либерализм. Однако я полагаю тем не менее, что можно использовать слово «либерализм», поскольку в центре этой практики или проблем, поставленных этой практикой, оказывается свобода. Я думаю, это надо пояснить. Назвать это новое искусство управлять либерализмом не значит сказать[31], что совершается переход от авторитарного руководства XVII и начала XVIII вв. к руководству более толерантному, более терпимому и более гибкому. Я не хочу сказать, что это было не так, но я не хочу сказать и того, что это было так. Я хочу сказать, что мне не кажется, будто суждение вроде этого может иметь большой исторический или политический смысл. Я не хотел сказать, что количество свободы, скажем, с начала XVIII в. и до XIX в. увеличилось. Я не говорил этого по двум причинам. Одна из них фактическая, а другая методическая и принципиальная.

Фактическая такова: имеет ли смысл говорить или просто касаться того, что административная монархия вроде той, например, что знавала Франция в XVII и XVIII вв., со всей своей напыщенной, тяжеловесной, неповоротливой, лишенной гибкости машинерией, с сословными привилегиями, с которыми ей приходилось считаться, с произволом решений, навязываемых всем и каждому, со всеми лакунами в ее инструментах — имеет ли смысл говорить, что эта административная монархия оставляла больше или меньше свободы, чем режим, который мы называем либеральным, но который ставит перед собой задачу непрестанно, эффективно заботиться об индивидах, об их благосостоянии, об их здоровье, об их труде, о способе их существования, об их манере поведения, вплоть до их манеры умирать и т. п.? Таким образом, в сравнении количества свободы в одной системе и в другой, мне кажется, смысла немного. Нет никакого типа доказательства, никакого шаблона или меры, которые здесь можно было бы применить.

Это подводит нас ко второй причине, которая, как мне кажется, более существенна. Не нужно думать, будто свобода — это универсалия, которая поступательно реализуется во времени или подвергается количественным изменениям, более или менее значительным сокращениям или периодам упадка. Это не универсалия, индивидуализирующаяся в зависимости от времени и географии. Свобода — это не белая доска с появляющимися там и тут и время от времени более или менее многочисленными черными клетками. Свобода никогда не есть что-либо иное — но это уже много, — как актуальное отношение между управляющими и управляемыми, при котором «слишком мало»[32] существующей свободы задается «еще больше»[33] свободы требуемой. Так что, когда я говорю «либеральный»[34], я не имею в виду соответствующую форму руководства, которая оставляла бы больше белых клеток свободе. Я имею в виду нечто иное.

Я использую слово «либеральный» прежде всего потому, что эта становящаяся правительственная практика не довольствуется тем, чтобы признавать ту или иную свободу, гарантировать ту или иную свободу. Если взглянуть глубже, она — потребительница свободы. Она — потребительница свободы, поскольку она может функционировать лишь в той мере, в какой существуют определенные свободы: свобода рынка, свобода продавца и покупателя, свободное осуществление права собственности, свобода мнения, при случае свобода слова и т. п. Таким образом, новые правительственные

интересы нуждаются в свободе, новое искусство управления потребляет свободу. Потребляет свободу — значит обязано ее производить. Оно обязано ее производить, оно обязано ее организовывать. Новое искусство управлять предстает распорядителем свободы, не в смысле императива «будь свободен», с противоречием, которое непосредственно несет в себе этот императив. Либерализм формулирует не это «будь свободен». Либерализм формулирует лишь: я произведу тебя как то, что свободно (*je vais te produire de quoi être libre*). Я постараюсь, чтобы ты был свободен быть свободным. И вместе с тем, поскольку либерализм есть не столько императив свободы, сколько управление и организация условий, при которых можно быть свободным, в самом центре этой либеральной практики устанавливается проблематичное, всегда разное, всегда подвижное отношение между производством свободы и тем, что, производя свободу, рискуют ее ограничить и отменить. Либерализм в том смысле, в каком я его понимаю, этот либерализм, который можно охарактеризовать как сформировавшееся в XVIII в. новое искусство управлять, предполагает в своем средостении отношение производства/разрушения[35] свободы [...].[36] Нужна рука, производящая свободу, но сам этот жест предполагает, с другой стороны, установление ограничений, контроля, принуждения, поддерживаемых угрозами обязательств, и т. п.

Примеры очевидны. Свобода торговли, конечно, нужна, но как она может эффективно осуществляться, если ее не контролировать, не ограничивать, не организовывать целой серией дел, мер, предупреждений и т. п., избавляющих от результатов гегемонии одной страны над другими, гегемонии, которая привела бы к ограничению и умерению свободы торговли? Парадокс в том, что, когда в начале XIX в. все европейские страны и Соединенные Штаты пожелаю провести встречу, когда, будучи убеждены экономистами конца XVIII в., правители захотят установить царство коммерческой свободы, они натолкнутся на британскую гегемонию. И для того, чтобы спасти свободу торговли, к примеру, американские правительства, сами воспользовавшиеся этой проблемой[37], чтобы восстать против Англии, с начала XIX в. установят защитные таможенные тарифы, спасая свободу торговли, которую могла скомпрометировать английская гегемония. Это, конечно, тоже свобода внутреннего рынка, но для того, чтобы она действовала, нужно еще, чтобы был не только продавец, но также и покупатель. Следовательно, возникает потребность поддерживать рынок и создавать покупателей посредством механизмов вспомоществования. Чтобы достичь свободы внутреннего рынка, нужно устранить монополистические влияния. Необходимо антимонопольное законодательство. Есть свобода рынка труда, но нужно еще, чтобы были трудящиеся, достаточно много трудящихся, трудящихся достаточно компетентных и квалифицированных, трудящихся политически обезоруженных, чтобы они не оказывали давления на рынок труда. Перед нами что-то вроде притока грандиозного законодательства, грандиозного количества правительственных вмешательств, которые станут гарантией производства свободы, столь необходимого для управления.

При либеральном режиме, при либеральном искусстве управлять свобода действия предполагается, провозглашается, она необходима, она служит регулятором, но нужно еще, чтобы ее производили и чтобы ее организовывали. Таким образом, свобода для режима либерализма не является данностью, не является тем, что надо соблюдать, а если и является, то только отчасти, лишь кое-где, в том или ином случае и т. п. Свобода — это то, что изготавливается ежечасно. Либерализм — это не то, что принимает свободу.

Либерализм — это то, что предполагает ее ежечасное изготовление, порождение, производство и, разумеется, [систему][38] принуждений и проблем стоимости, порождаемых этим изготовлением.

Каким же должен быть принцип расчета этой стоимости изготовления свободы? Принцип расчета — это, разумеется, то, что называется безопасностью. То есть либерализм, либеральное искусство управлять, вынужден в точности определять, в какой мере и до какой степени индивидуальные интересы (индивидуальные в том отношении, что они отличны один от другого, а порой и противоположны) не должны представлять опасности для интереса всех. Проблема безопасности: отстаивать коллективный интерес вопреки интересам индивидуальным. То же самое наоборот: надо отстаивать индивидуальные интересы вопреки всему тому, что могло бы явиться по отношению к ним посягательством коллективного интереса. Нужно еще, чтобы свобода экономических процессов не представляла опасности для предприятий и для трудящихся. Свобода трудящихся не должна стать опасностью для предприятия и для производства. Отдельные случайности, все то, что может произойти в жизни кого бы то ни было, будь то болезнь или то, что приходит неизбежно и называется старостью, не должно представлять опасности ни для индивидов, ни для общества. Короче, этот императив — заботиться о том, чтобы механика интересов не порождала опасности ни для индивидов, ни для коллектива, — должен отвечать стратегиям безопасности, которые являются, так сказать, оборотной стороной и самим условием либерализма. Свобода и безопасность, игра свободы и безопасности — вот что стоит в самом центре тех новых правительственных интересов, общие черты которых я вам представил. Свобода и безопасность — именно это оживит, так сказать, интерьер проблемы того, что я называю присущей либерализму экономией власти.

В целом можно сказать так: в прежней политической системе суверенитета между правителем и подданным существовала целая серия юридических и экономических отношений, которые побуждали и даже обязывали правителя защищать подданного. Однако эта защита была, так сказать, внешней. Подданный мог просить своего правителя защитить его от внешнего или внутреннего врага. В случае либерализма все по-другому. Теперь обеспечивается не просто внешняя защита самого индивида. Либерализм порождается механизмом, который будет ежечасно судить о свободе и безопасности индивидов, опираясь на понятие опасности. В сущности, если, с одной стороны (я говорил вам об этом в прошлый раз), либерализм есть искусство управлять, прежде всего манипулирующее интересами, он не может — и это оборотная сторона медали — манипулировать интересами, не управляя в то же самое время опасностями и механизмами безопасности/свободы, игрой безопасности/свободы, которая должна свидетельствовать о том, что индивиды или общность как можно меньше подвергаются опасностям.

Это, конечно, влечет за собой определенные последствия. Можно сказать, что в конце концов девиз либерализма — «жить опасно». «Жить опасно», то есть индивиды всегда находятся в опасности, или, скорее, пребывают в состоянии, в котором их положение, их жизнь, их настоящее, их будущее подвергаются значительной опасности. И эта разновидность стимула опасности, как мне кажется, является одним из основных следствий либерализма. В XIX в. появляется воспитание опасности, целая культура опасности, разительно отличающаяся от таких великих видений или угроз Апокалипсиса, как чума,

смерть, война, которыми питалось средневековое политическое и космологическое воображение вплоть до XVII в. Исчезновение всадников Апокалипсиса и, напротив, появление, вторжение повседневных опасностей, непрестанно оживающих, реактуализируемых, пускаемых в обращение, — все то, что можно было бы назвать политической культурой опасности XIX в. и что имеет целую серию аспектов. Таковы, например, кампания сберегательных касс²² начала XIX в.; с середины XIX в. мы видим появление полицейской литературы и журналистского интереса к преступлению; мы видим кампании, касающиеся болезни и гигиены; взгляните на все то, что происходит вокруг сексуальности и боязни вырождения:²³ вырождения индивида, семьи, расы, человеческого рода. Наконец, повсюду заметна эта стимуляция страха перед опасностью, которая является условием, так сказать, коррелятивным для психологии и внутренним для культуры либерализма. Без культуры опасности нет либерализма.

Второе следствие либерализма и либерального искусства управлять — это, конечно же, невиданное распространение процедур контроля, сдерживания, принуждения, которые составят замену и противовес свобод. Я уже достаточно подчеркнул тот факт, что эти пресловутые великие дисциплинарные техники, проявляющие попечение о поведении индивидов день ото дня и до самых мелочей, современны в своем развитии, в своем распространении, в своем рассеянии по всему обществу эпохе свобод.²⁴ Экономическая свобода, либерализм в том смысле, о котором я только что говорил, и дисциплинарные техники — вещи вполне взаимосвязанные. И тот знаменитый Паноптикон, что в начале своей жизни, в 1792-[17]95 гг., Бентам представлял как то, что должно стать процедурой, благодаря которой можно было бы надзирать за поведением индивидов внутри таких институций, как школы, мастерские, тюрьмы, увеличивая рентабельность, производительность их деятельности,²⁵ в конце своей жизни, в своем проекте всеобщей кодификации английского законодательства,²⁶ Бентам представит как то, что должно стать формулой правительства в целом, говоря: Паноптикон есть формула либерального руководства,²⁷ потому что, в сущности, что должно сделать правительство? Оно должно предоставить место всему тому, что может быть естественной механикой, деятельностью и производством. Оно должно предоставить место этим механизмам и не должно иметь никакой другой формы вмешательства в них, по крайней мере в первой инстанции, инстанции надзора. И только когда правительство, ограничиваясь поначалу функцией надзора, увидит, что что-то происходит не так, как велит общая механика деятельности, обменов, экономической жизни, оно должно вмешаться. Паноптизм не является механикой региональной и ограниченной институциями. Паноптизм, по Бентаму, есть общая политическая формула, характеризующая тип правления.

Третье следствие (вторым была конъюнкция между дисциплинами и либерализмом) — появление в этом новом искусстве управлять механизмов, имеющих своей функцией производить, внедрять, продвигать свободу, вводить больше свободы через больший контроль и вмешательство. То есть контроль — уже не просто необходимый противовес свободы, как в случае паноптизма. Это движущий принцип. Мы находим этому примеры хотя бы в том, что происходило в Англии и в США на протяжении XX в., скажем, в тридцатые годы, когда развивающийся экономический кризис позволил непосредственно ощутить не только экономические, но и политические последствия этого кризиса, увидеть опасность для некоторых считавшихся основополагающими свобод. К примеру, проводимая

Рузвельтом с 1932 г. политика «Welfare»²⁸ была способом гарантировать и производить в ситуации угрозы безработицы больше свободы: свободы труда, свободы потребления, политической свободы и т. п. Какой ценой? Ценой целой серии искусственных, волюнтаристских, непосредственно экономических вмешательств в дела рынка, которые составляли основные меры «Welfare» [и] которые станут начиная с 1946 г. — а впрочем, даже и с самого начала — характеризоваться как представляющие угрозу нового деспотизма. Демократические свободы в этом случае гарантируются только экономическим интервенционизмом, который изобличается как угроза свободам. Так мы приходим (и это тоже момент, на котором стоит остановиться) к идее о том, что это либеральное искусство управлять в конце концов обращается само на себя или становится жертвой^[39] того, что можно назвать кризисами руководства. Кризисы могут происходить, например, из-за увеличения экономических затрат на осуществление свобод. Взгляните, например, как недавние тексты [Трехстороннего соглашения]²⁹ пытались предсказать в экономическом плане стоимость того, что составляет следствия политической свободы. Проблема кризиса или, если хотите, осознания кризиса исходит из определения экономической стоимости осуществления свобод.

Вы можете вспомнить другую форму кризиса, когда инфляция порождается компенсаторными механизмами свободы. То есть для осуществления определенных свобод, таких, например, как свобода рынка и антимонопольное законодательство, предпринимается законодательное сдерживание, ощущаемое партнерами на рынке как избыток интервенционизма, сдерживания и принуждения. На более локальном уровне это может выразиться в мятеже, дисциплинарной нетерпимости. Наконец и главным образом, это процессы закупоривания, ведущие к тому, что механизмы, производящие свободу, призванные упрочивать и производить эту свободу, на деле будут порождать разрушительные эффекты, превосходящие даже то, что они производят. Такова, если хотите, двусмысленность всех этих диспозитивов, которые можно было бы назвать «свободопорождающими»^[40], диспозитивов, предназначенных для производства свободы и порой рискующих произвести нечто прямо противоположное.

Таков подлинный кризис либерализма: ансамбль механизмов, которые в 1925 и 1930 гг. пытались предложить экономические и политические формулы, защищающие государства от коммунизма, социализма, национал-социализма, фашизма, эти механизмы, гаранты свободы, призванные производить все больше свободы или во всяком случае реагировать на угрозы, нависшие над этой свободой, носили характер экономического вмешательства, то есть опирались на сдерживание или по крайней мере на принуждающее вмешательство в область экономической практики. Будь то немецкие либералы Фрайбургской школы 1927-^[19]³⁰ гг.,³⁰ или настоящие американские либералы, называемые либертарианцами,³¹ как одни, так и другие в своем анализе исходили из такой постановки проблемы: чтобы избежать уменьшения свободы, что повлекло бы за собой переход к социализму, фашизму, национал-социализму, нужно создать механизмы экономического вмешательства. Но разве не эти механизмы экономического вмешательства обманном путем вводят типы вмешательства и способы действия, по меньшей мере столь же компрометирующие свободу, как и те явные и очевидные политические формы, которых хотят избежать? Другими словами, в центре этих разнообразных дебатов оказывается кейнсианский тип вмешательств. Можно сказать, что интервенционистская экономическая политика Кейнса,³²

проводившаяся между 1930 и 1960 гг., незадолго до войны и сразу после, привела к тому, что можно назвать кризисом либерализма, а этот кризис либерализма проявляется в определенных пересмотрах, переоценках, новых проектах искусства управлять, формулируемых в Германии перед войной и сразу после войны, а в настоящее время в Америке.

Чтобы закончить, я хотел бы сказать вот что: дело в том, что, конечно же, современный мир, в конце концов модерный мир, начиная с XVIII в. непрестанно сотрясался явлениями, которые можно назвать кризисами капитализма, но нельзя ли также сказать, что были и кризисы либерализма, разумеется, не независимые от кризисов капитализма? Проблема тридцатых годов, о которой я только что упомянул, служит тому доказательством. Однако кризис либерализма — не просто чистая и простая проекция, прямая проекция кризисов капитализма на сферу политики. Можно обнаружить связь кризисов либерализма с экономическими кризисами капитализма. Можно обнаружить также их хронологический сдвиг по отношению к этим кризисам, и уж во всяком случае то, как эти кризисы проявляются, то, как эти кризисы управляются, то, какие реакции, какие перестройки вызывают эти кризисы, — все это не выводится напрямую из кризисов капитализма. Это кризис общего диспозитива руководства, и мне кажется, что можно было бы создать историю кризисов общего диспозитива руководства, появившегося в XVIII в.

Именно это я попытаюсь сделать в этом году, взглянув на вещи, так сказать, ретроспективно, то есть начав с того, что происходило на протяжении последних тридцати лет[41], и сформулировав элементы кризиса диспозитива руководства, а затем [попытавшись][42] обнаружить в истории XIX в. некоторые из элементов, позволяющие прояснить то, каким образом сегодня ощущается, переживается, осуществляется, формулируется кризис диспозитива руководства.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 05:12:15

Зверобой обновил 27 января 2026 05:13:18